

Матиас Мальзьё Фарфоровый солдат

CoRpus

В поэтической прозе,
которой славится Мальзьё,
талантливо создающий
свой зачарованный мир,
незримо витают Тим Бёртон
и Льюис Кэрролл.

LE SOIR



Матиас Мальзьё

Фарфоровый солдат

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Мальзьё М.

Фарфоровый солдат / М. Мальзьё — «Издательство АСТ», 2022

ISBN 978-5-17-153827-9

Матиас Мальзьё – популярный французский писатель, музыкант и режиссер, создатель и солист рок-группы Dionysos, автор десятка успешных книг, кавалер ордена Искусств и литературы. «Фарфоровый солдат» – подлинная история отца автора. Действие происходит во время Второй мировой войны. В 1944 году, после внезапной смерти матери, девятилетний Мену тайно пересекает на телеге, спрятавшись в сене, демаркационную линию между свободной и оккупированной зоной, чтобы попасть к бабушке. Бабушкина ферма находится в занятой немцами Лотарингии, объявленной частью Третьего рейха, здесь даже французский язык под запретом. Новая нелегальная жизнь Мену на маленькой ферме полна опасностей: если оккупанты его обнаружат – расстреляют всю семью. К тому же родственники прячут у себя не только его, но и еврейскую девушку, подругу матери. И все-таки, несмотря на ежеминутный риск, томительное подпольное существование преподносит мальчику удивительные открытия. Роман о войне, о детстве под бомбами, о первой любви, надежде и поисках себя. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-153827-9

© Мальзьё М., 2022
© Издательство АСТ, 2022

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	25
-----------------------------------	----

Матиас Мальзьё

Фарфоровый солдат

© Mathias Malzieu, 2022

© Éditions Albin Michel, 2022

© Mathias Malzieu, фотография на обложке

© Н. Мавлевич, перевод на русский язык, 2023

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023

© ООО «Издательство Аст», 2023

Издательство CORPUS ®

* * *



Матиас Мальзьё

В поэтической прозе, которой славится Мальзьё, талантливо создающий свой зачарованный мир, незримо витают Тим Бёртон и Льюис Кэрролл.

Le Soir

Великолепная книга о горькой утрате, надежде, страхе, мечтах, а еще о семье и о любви.

Le Parisien

Рожденный под покровительством невидимых фей, новый роман Матиаса Мальзьё полон волнующей и энергичной поэзии.

Point de Vue

Название одной из известных песен Мальзьё – «Фарфоровый солдат» – вдохновило его на прекрасную трогательную историю, рассказанную с неподражаемым юмором. У персонажей пылкие чувства и хрупкие фарфоровые сердца. Они прячутся от реальности и воссоздают ее для себя с помощью магической кисти.

Paris-Normandie

* * *

Моему отцу

*Хочу, чтобы ты пришла,
Чтобы в дверь постучала,
Сказала: "Привет, это я,
Угадай, что я принесла".
И принесла мне себя.*

*Борис Виан
Колыбельная для медведей,
которых нет дома*

Пролог

У нас дома было два предмета, которые так и притягивали меня. Оба – из Лотарингии. Первый – деревянный барометр, на его корпусе вырезана пара аистов в огромном гнезде, а под ним – типичная для востока Франции деревушка. До конца восьмидесятых годов отец узнавал, какая будет погода, постукивая по его стеклянному окошку. У меня до сих пор в ушах этот звук. Это было последнее, что я слышал за день, перед тем как сказать всем “спокойной ночи”. Папа барабанил по барометру, даже когда сборная Франции проигрывала немцам. Звяк ногтей по стеклу, а потом: “О! Завтра ясно!” или “Э-э-эх! Дело плохо! Завтра будет дождь!”

Я был еще слишком мал, чтобы разобрать надписи на шкале, и потому думал, что мой папа – синоптик-волшебник.

Вторым предметом была не очень большая деревянная шкатулка, стоявшая в кухне на видном месте. С наклеенной этикеткой: “На память”. Папа доставал из этой шкатулки всякие штучки, которые в детстве казались мне волшебными. Шкатулка напоминала сумку Мэри Поппинс, там лежали бобины с 8-миллиметровой киноплёнкой, сине-желтый кораблик, диапозитивы, сохранившиеся со времен войны, когда папа был младше, чем мы сейчас.

И еще альбом с фотографиями. Его мама Элиза. Его бабушка. Дядя Эмиль, тетя Луиза. И он сам в сорок пятом году, гордо позирующий на велосипеде Эмиля, рядом со своим отцом, у которого на груди красуется Боевой крест и орден Почетного легиона.

В самом конце альбома между страницами был вложен конверт. В нем два письма его матери. Иногда папа вынимал их. И долго сидел молча, как будто затерявшись в лабиринте прошлого. А возвращался оттуда, только когда вкладывал письма обратно.

Однажды вечером я решился спросить, что говорилось в этих письмах. И папа прочитал одно, написанное за несколько дней до смерти его мамы. Я был поражен. Письмо и тронуло, и ужаснуло меня. Из него было ясно, что незадолго до трагической гибели, которой, кто знает, можно было избежать, ее всерьез заботила болезнь Мену́. Так звали в детстве моего отца.

А еще там была пишущая машинка, черная блестящая “мерседес-прима” на деревянной подставке.

Папа много ездил по миру и отовсюду привозил замечательные истории, которые выразительно, со вкусом рассказывал нам.

Я хотел быть таким, как он, даже когда он на целый месяц попал в плен в Саудовской Аравии. Он бывал в Анкоридже на Аляске, ссорился с японцами, привозил нам то австралийца,

который всегда улыбался, даже за едой, то неженку корсиканца, который падал чаще, чем Пьер Ришар в “Невезучих”, то израильтянина, которого звали, как горный перевал, – Изоар, то англичанку с прической, похожей на чипс.

Но самое грандиозное его приключение началось с того, как он пересекал демаркационную линию¹ между свободной и оккупированной зоной, спрятавшись в телеге с сеном.

*Монпелье, Помпиньян,
вилла “Иветта”
4 июня 1944*

Сегодня ночью ты умерла. И все-таки наступил новый день. Мирей его не увидела, а я никогда не увижу Мирей.

У папы даже не было времени выплакаться. Пришлось наскоро собирать два чемодана и готовить два гроба. Сложенное белье – его сложила ты – пахнет свежей стиркой. Запах-призрак. Лестница помнит твои шаги. Ступени стонут.

А я нет. Я как папа. Он закрывает оба чемодана, заколачивает оба гроба, нахмутив брови. Глаза смотрят в никуда, но руки работают быстро и ловко. Я тоже смотрю в никуда и не вижу там ничего.

“Бедняжка Мену, ты останешься без мамы”.

Это последнее, что ты сказала мне, лежа в постели. Я заплакал и не мог остановиться. Но все-таки потом остановился. И с сегодняшнего дня решил, что больше никогда не буду плакать.

Самые тяжелые чемоданы невидимы. В папином свернулись клубком два призрака: любимой жены, его Лизетты, как он тебя называл, и почти родившейся дочки, в моем – мамы и почти родившейся сестры.

Папа завязывает мне галстук, как новоиспеченному взрослому. Делает это старательно, как всегда, но только очень долго. Глаза и смотрят и не смотрят на меня, веки мигают. “Моргают! – сказала бы ты мне. – Глаза не мигают, Мену, а моргают”. И улыбнулась бы.

– Понимаешь, сейчас я никак не могу заниматься тобой, но мы расстаемся не навек, – говорит папа.

Мне бы хотелось знать, сколько продлится этот *ненавек*, но я молчу.

– Мой долг – вернуться в строй. Ты ведь знаешь?

Знаю, еще как знаю. Вот и киваю в ответ.

– Ты поедешь к бабушке, для этого придется перебраться через демаркационную линию. Это такая новая граница, французам запрещается ее пересекать. У мамы есть двоюродная сестра Жанна, ее земля лежит по обе стороны этой запретной линии, она переправит тебя на телеге. Тебе придется спрятаться в сено. Так ты попадешь в оккупированную зону. И что бы ни случилось, ты должен сидеть тихо и молчать. Ясно?

– Да-да.

– У бабушки тебе будет хорошо, она очень добрая. Там живут еще дядя Эмиль, большой чудак, и тетя Луиза, она немножко... ну, сам увидишь.

Папа заново перевязывает галстучный узел. Лучший галстучный узел всех времен и народов. Я стою не дыша.

¹ Герой романа пересекает демаркационную линию в департаменте Юра, потом его перевозят в ту часть провинции Лотарингия, которая в 1940 году была аннексирована Германией и объявлена частью Третьего рейха. Лотарингия была освобождена в декабре 1944 года. (*Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, – прим. перев.*)

– Вот... а это отдашь бабушке. – Он кладет в мой чемодан небольшую деревянную шкатулку. – Она принадлежала твоей маме... и была ей очень дорога. Вручаю ее тебе. Как только приедешь, сразу отдай ее бабушке и, главное, ни в коем случае не открывай. Понял, сынок?

Я снова киваю, чтобы показать, какой я понятливый. А на самом деле у меня разрывается сердце и пылает голова.

– Мену? – переспрашивает папа, глядя на меня строго-престрого.

– Да-да, – повторяю я, подавив просившиеся наружу вопросы.

В поезде,

4 июня 1944

По радио объявляют, что отправляется поезд, но отъезжает назад Монпелье. А мы не двигаемся с места. Мы думаем. А словами не пользуемся – они бесполезны.

Папа обнимает меня за плечо, рука у него такая большая. Соседи спят – вид у них как у мертвых. Кажется, все осталось далеко позади. У нас с собой шкатулка, два чемодана с призраками и куча застрявших в горле вопросов. Если папино *ненавек* затянется надолго, то хоть иногда он будет приезжать? Что лежит в той шкатулке? Почему мне нельзя ее открывать? А умирают навсегда?

В поезде стало темно, уже ночь, а я и не заметил. Погруженный в раздумья по поводу вопросов, которые не осмеливался задать. Но видел, как бледнеет луна и гаснут звезды одна за другой.

Я думаю о тебе живой. Думаю с такой силой, что кажется, ты не можешь быть мертвой. Думаю о сестренке. О том, как я думал, что вот она вырастет и мы с ней будем играть в разные игры. Пытаюсь сосредоточиться на каплях дождя, бегущих по стеклу, но как-то не получается.

– Лонс-ле-Сонье, конечная! Просьба всем пассажирам выйти из поезда! – объявляет радио.

– Пошли, Мену! – говорит папа точно так, как говорил, когда ты еще была с нами.

Здорово умеет притворяться.

Он берет меня на руки и спускает с подножки вагона. На несколько секунд я снова “малыш”.

На перроне нас встречает долговязая женщина.

– Мену, это Жанна, дальше ты поедешь с ней.

Твоя двоюродная сестра – самый вытянутый на свете сестринский экземпляр. Цветок в очках на длинном-длинном стебельке. Бесконечно длинном. Пока задерешь голову заглянуть ей в глаза, zakружится голова.

Я хотел спросить папу, хорошо ли ты ее знала, любила ли, но, пожалуй, не стоит добавлять тяжести невидимому чемодану, тем более что им не до меня – они говорят про демаркационную линию.

Я слушаю, но не все понимаю. Кроме того, что если их задержат немцы, то могут “застрелить”, и что она сделает все, чтобы я остался “целым и невредимым”. План таков: уехать из свободной зоны в оккупированную, в волчью пасть, проскочить между зубов этого самого волка и спрятаться у него в брюхе вместе с бабушкой, а потом ждать, чтобы кто-нибудь волка убил.

Я вспомнил, как Пиноккио нашел своего отца в брюхе акулы и так далее. Но мы с папой будем в брюхе у разных акул.

– Я за тобой приеду...

– Когда? – перебиваю я.

– Как только кончится эта чертова война.

Папа, конечно, много что может, но в утешениях он не силен. Утешать – это по твоей части.

Папа не сказал мне “будь молодцом” – мне и так ничего другого не оставалось, кроме как прикидываться взрослым. Он обнял и поцеловал меня, будто желал спокойной ночи. Было немножко колко, но приятно пахло одеколоном.

А потом он исчез, как в начале волшебной сказки. Если появится в конце – вот это будет настоящее волшебство.

Кажется, еще пахнет одеколоном. А вот уже и не пахнет – только вокзалом. Вернуться бы назад, домой, уснуть в своей постели и проснуться позавчера. Или нет, это было бы еще хуже – пришлось бы опять смотреть, как папа собирает вещи и смотрит сквозь меня. Ладно, тогда постараюсь не думать ни о чем, вернее, думать ни о чем, и это Ничто мгновенно наполняется призраками.

Мы выходим из вокзала, как выходят нормальные люди. Делаем вид, что все как всегда, как раньше. Долго идем по незнакомым улицам. Кажется, началась какая-то другая жизнь, не моя. Длиннющая мамина кухня сжимает мою руку так сильно, что побелели пальцы. Я медленно дышу, ноги шагают сами по себе. Все как во сне. Как будто я просыпаюсь, опять засыпаю и попадаю в тот же дурной сон.

*В запретной зоне,
4 июня 1944*

Идем вдоль пшеничного поля, которому нет дела ни до какой войны. Над ним ветер как ветер, солнце как солнце – все своим чередом. Мы идем долго-долго.

Каждые десять минут кухня Жанна окликает меня: “Как ты, Мену?”, я отзываюсь: “Хорошо”. Я пинаю ногой камень и стараюсь его не терять. Привычка из прошлой жизни, когда я по дороге из школы играл в футбол понарошку. Тебя бесило, когда я лез доставать улетевший в канаву камень, вместо того чтобы подхватить любой другой.

Вдруг – лошади ржут. Поворот на тропинку – там их две, бурые, широкозадые. Позади – телега с сеном. У меня забилося сердце, задрожали ноги, сбилось дыхание.

Жанна вырыла в сене ямку, как морская свинка, устраивающая себе гнездо. Я спрятался туда.

– Ну как, Мену, дышать можно? – спрашивает она.

В жизни не слышал такого ласкового голоса.

– Ну что, прокатись на карусели? – Жанна ободряюще мне улыбается.

Она ужасно старается, чтобы мне было нестрашно.

– Мену... тебе ведь папа сказал... сидеть тихо. Ни слова, ни звука, ты понял?

– Да.

Я упираюсь ногами, чтобы не вывалиться из телеги, боками бьюсь о влажное деревянное дно, под головой вместо подушки жесткая шкатулка.

Лошади переговариваются по-лошадиному. Солнце жарит им спины. Ветер, вот гад, дует на сено, мне щекотно, того гляди чихну. Закрываю глаза, чтобы не кружилась голова, а она кружится еще больше. Душно, не продохнуть. Я чуть-чуть высовываю голову. И тут же кухня вжимает мою макушку обратно и шипит: “Тиххххх! Немцы совсем рядом, увидят тебя – и конец!”

Я снова в своем сенном коконе. Всюду щиплет: в носу, в глазах, в горле. Жутко хочется пить. Да не просто воды, а гренадина из керамического бокала со льдинкой внутри. Из всех сил стараюсь представить себе его вкус, цвет и холодок во рту.

Ты же меня и научила. “Чтобы развеять печаль, надо подумать о чем-то радостном”. Это было всего две недели назад. Тогда чем-то ужасным казалось, что поднялась температура и нельзя кататься на велосипеде и играть в футбол. Но до чего же было хорошо! Ты так умела утешать, что когда я пошел на поправку, то еще несколько дней прикидывался больным.

И вот я стал представлять себе, как ты кладешь руку мне на лоб, твоя ладонь прохладная, как гренадин со льдом. Думать о том, как пахнет свежескошенная трава на футбольном поле или мокрая земля, когда играем под дождем. О теплом душе, пижаме и чашке горячего шоколада перед камином. О том, как папа заводит новоорлеанский джаз и ты немедленно начинаешь танцевать. Помню, как я смеялся, что ты так вдруг пускалась в пляс. И как звонко смеялась ты, когда я тоже принимался отплясывать в пижаме перед камином. Так звонко...

Телега замедляет ход. И резко останавливается.

– Главное, сиди тихо, – шепчет кузина.

Чей-то голос. Будто не говорит, а лает. Я затаил дыхание. Почувствовал себя посылкой с бомбой. Вот бы уметь, как тот длинный, эластичный, как жевательная резинка, парень, которого мы видели с тобой в цирке, – сжаться в комочек и забраться в крохотную коробку. У него это здорово получалось.

Телега раскалилась под солнцем. Сено колется, как шерстяной свитер на голое тело. Время застыло, не хватает воздуха. Зверски щекочет в носу, а чихнуть нельзя, хоть плачь. Ругаться про себя – совсем не то, что вслух.

Сжимаю зубы – хоть это мне можно.

Телега никак не поедет. Я совсем не дышу. Надуваю щеки. Крепко сжимаю веки. Перед закрытыми глазами, как фильм, прокручивается вся моя жизнь. Не очень длинная, но в ней так много всего!

Монпелье. Вилла “Иветта”. Синие ставни. Синий велосипед. Яйца вкрутую! Роза, увядшая без полива. Драка котов. Снег над морем. Огромное небо. Поле маковых бутонов. Лепестки расправлялись, как спальные мешки для фей. Сине-желтый деревянный кораблик, папин подарок, когда я лежал с аппендицитом. Твой растущий живот – он надувался, как мяч, сначала гандбольный, потом футбольный и под конец баскетбольный. Новенькая сестренка, которую ты, поглаживая живот, называла Мирей. Мой кораблик. “Нос! Киль! Борта!”

И все-таки я чихаю. Коротко. Громко. Сухие травинки шевелятся над головой. Чья-то рука ворошит сено. Пальцы касаются моего затылка. Мои волосы электризуются, как кошачья шерсть. Сенная буря! Я чихаю, чихаю и не могу остановиться. В шкатулке что-то стучит. Тик-так-кляк-бум-тик-так-бум-блям! Правда бомба? Рука все шарит. Втягиваю живот, а рука шебуршит. Я уже вижу пальцы. Они нащупали мое плечо. Тихонько за него берутся. Похлопывают. Пальцы длинные, тонкие, как у тебя.

А лающий голос все ближе. Но даже и совсем вблизи я не понимаю ни слова на этом языке. От него дерет горло, и наверняка оно пересыхает, если долго на нем говорить. Кузина-тростинка что-то произносит в ответ, я снова ничего не понимаю, но в ее устах немецкий звучит приятно.

Меня опять разбирает чих. Пытаюсь думать, что чихать совсем не хочется, но это не помогает. Щеки раздуты, веки горят, слезы текут. Глотаю их, воображать, что это гренадин, не выходит. Чихать или не чихать – таков вопрос. Вопрос жизни и смерти. Чем дольше сдерживаю чих, тем, знаю точно, хуже будет, когда он прорвется.

Десять секунд – и новый чихательный зуд. Ветер шевелит сено. У меня чешется все тело, я весь с ног и до головы – сплошной нос. Тик-так-бум-тик-так-бум! – стучит в шкатулке.

Еще пять секунд – и опять! “Ты заливаешься томатом!” – говорила ты мне, когда я краснел, потому что заранее знала, что я задумал что-нибудь отчебучить. А сейчас я заливаюсь томатом по чисто техническим причинам. Не могу больше дышать. Не могу больше терпеть.

Огонь! Пли! Апчхи! Будто чихнул не человек, а кот-астматик или даже лис. Толстозадые лошади, верно, подумали, что я пытаюсь говорить на их языке, во всяком случае, они мне ответили. Заржали, как ковбойские скакуны.

Снова копаются в сене рука. И уже точно пробирается ко мне. На этот раз мне конец. Убьют и меня, и долговязую кухню.

Если есть Бог и всякие силы небесные, надеюсь, они подкинут мне адресок, как отыскать тебя в тех закоулках райских кущ, где положено покоиться душам мертвых. А что, если укусить эту руку? А потом выпрыгнуть из телеги и вскочить на толстозадую лошадь... Я думаю о каких-то небылицах, а думать некогда. Настоящее – вот оно, здесь и теперь.

Рука находит и легонько пожимает мне запястье.

– Они ушли, – говорит долговязая кухня и счищает сено с моего лица.

Я чуть было не бросился с ней обниматься, как будто она – это ты. Так хочется, чтобы это и правда была ты, что мне мерещится твой взгляд в ее глазах. Длиннющая кухня все держит меня за руку, а я все гляжу на нее. Она часто дышит, а вдохнуть и выдохнуть глубоко никак не может. Я не силен в утешениях, наверно, это у меня от папы. Не знаю, что надо делать, только смотрю на нее да жду, пока она надо мной разрыдается.

– Спасибо, – говорю я, и всё.

Она улыбается. А я повторяю опять и опять:

– Спасибо, спасибо, спасибо.

И эти мои “спасибо” действуют как волшебные заклинания.

Лошади снова принимаются лопотать по-лошадиному, ветер шевелит сено, и я чихаю на вольном воздухе оккупированной зоны.

– Будь здоров, Мену! Ты был молодцом!

Эх, мама, честно говоря, не таким уж я был молодцом, просто мне повезло: я чихнул ровно в тот момент, когда одна толстозадая лошадь что-то громко сказала напарнице.

– Мы еще не совсем приехали, так что я не могу тебя выпустить. Посиди еще смирно, пока я не скажу, что можно. Ладно?

– Да-да.

Голос у меня как у охрипшей птицы, в горле сушь, как в раскаленной пустыне.

Я чутьчку разгребаю сено – только над лицом, чтобы было легче дышать. При каждом повороте оно насыпается снова, приходится его опять сгребать. Но временами я несколько минут подряд вижу небо. И играю в фигурные облака. Как делал когда-то, сидя на каменном молу. Крабы, песчаные замки да причудливые облака – других забот тогда не было.

Всю спину мне исколотило об дно телеги. Иногда она едет тише, и я слышу: “Ни звука, Мену!”, а потом снова тряска. Я насчитал сорок семь телеграфных столбов, одиннадцать раз чихнул, слышал лай трех собак, или, может, это лаяла одна и та же, и не знаю сколько раз пытался свистеть на все лады по-птичьему, за что на меня несколько раз шикали.

Вот телега снова замедлила ход, и долговязая Жанна заговорила тоном училки в начале учебного года, хотя какая там школа! Строго сказала, что я должен выслушать ее внимательно, – ну, хорошо.

Мне надо будет выполнять определенные правила, которые “ни в коем случае нельзя нарушать”.

– Как правила игры, только тут все взаправду. И от этого зависит твоя жизнь. Слышишь?

Я слышал, но не очень-то слушал. А все считал телеграфные столбы. Сейчас нет ничего важнее телеграфных столбов.

Кухня что-то говорила про оккупированную зону, про опасность, про то, что мы тут больше не хозяева. “Хотя мы во Франции, но все равно что в Германии”, – сказала она между 73-м и 74-м столбом.

Как будто радио бубнит надо мной и звук заглушают помехи. Мой бедный мозг переполнен, чуть не лопается от одних воспоминаний. Чтобы освободилось хоть немного места, надо все в нем разобрать, перетрясти, мне надо прочихаться, и главное, чтобы мне не мешали считать столбы.

Но вдруг ток спасительных мыслей прерывают слова:

– Вся область аннексирована. Мы все на вражеской территории. И ты в еще большей опасности, чем я, потому что ты “подпольный” ребенок.

Как это – подпольный?

– Как сирота?

Кузина объясняет все тем же учительским тоном с нотками раздраженной мамы. Из всего этого я понимаю, что мне придется долго ждать и прятаться чуть не круглые сутки. Разговаривать по-французски можно только с родными и только на ферме. Я помню, как у тебя блестели глаза, когда ты при мне вспоминала о своей подруге детства. Мне страшно нравилось слушать про те времена, когда ты еще не была моей мамой. Эти истории ты мне рассказывала, когда я болел, вот еще несколько дней тому назад.

– Бабушка научит тебя говорить по-немецки самое необходимое, – уверяет кузина.

Телега едет и едет, вместо телеграфных столбов теперь мелькают верхушки деревьев. Темнеет, проступают звезды. Точно так, как бывает всегда. Просвечивают сквозь синюющие облака.

Голос кузины Жанны уже не такой ласковый, как на вокзале. Она разговаривает со мной как со взрослым, и я притворяюсь взрослым.

– Они убрали все памятники героям Великой войны, – тем, благодаря кому твоя мать снова стала француженкой². Сожгли наши книги, даже священные. Закрыли церкви, сделали немецкий обязательным языком в школе. Хотя тебе все равно нельзя туда ходить.

У меня в голове вспыхивает озорной огонек: “Не будет школы!” И тут же гаснет.

– Бабушка будет сама учить тебя во Фромюбле³. Ты должен хорошенько усвоить, Мену: если тебя поймают, жизнь всей семьи будет в опасности. Тут всем заправляет гестапо. Ни один француз не может пересечь демаркационную линию без аусвайса, то есть пропуска.

– Но я же еду к родной бабушке.

– Да, конечно, но все, к сожалению, обстоит именно так. Немцы запретили французам пересекать эту линию, даже к бабушке нельзя. Не спрашивай почему. Могли бы запретить выращивать карликовых кроликов, есть яблоки ренет или приказать всем рыжим стереть с лица веснушки.

– Хорошо, что они не додумались. А то вот у меня, например, вся спина в веснушках, особенно летом!

У нее вырвался звонкий, как колокольчик, смешок.

– Они уничтожают все, что им не понравится. Убивают всех, кто думает не так, как они.

Кузина думает, я корчу из себя храбреца. Она зловеще улыбается, таращит глаза, говорит, чтобы я приготовился: мне будет страшно, и это хорошо, потому что страх – лучшее лекарство от безразудства.

Сейчас я слишком зол, чтобы бояться. Сердце колотится, стоит только задуматься, а совсем не думать я не могу. Стоит отвлечься от телеграфных столбов, как лавина вопросов снова рвется наружу.

Кузина начинает говорить сладким голосом. Но чем он слаще, тем мне неприятнее.

² В результате поражения Франции во франко-прусской войне 1871 года Эльзас и Лотарингия вошли в состав Германии. Франция вернула себе эти земли после Первой мировой войны в 1919 году.

³ Фромюль (La Frohmühle) на местном наречии означает “небольшая ферма”. (Прим. автора.)

– Главное правило, которое ты должен соблюдать, что бы ни случилось, таково: никогда не выходить из дома одному, никогда!

Через несколько часов и четырнадцать чихов телега останавливается окончательно.

– Не рыпайся, пока я не скажу! – велит кузина.

И ничего не говорит. Проходит длинное *ненавек*. Сено ужасно колется. Я ерзаю, и в шка-тулке снова что-то подозрительно постукивает.

– *Hoppla, isch güet...*⁴ Ну, можешь вылезать! – Кузина разгребает сено.

У меня в волосах застряло столько травинок, что птицы легко примут меня за пугало. Я выкарабкиваюсь и какое-то время стою на телеге, задрав голову.

Долговязая кузина протягивает свои худые руки, подхватывает меня и ставит на землю. Я прощаюсь с бурой толстозадой парой, а они все болтают о своем, о лошадином.

Кузина отряхивает меня. Похоже, меня привезли в школу вампиров – ночь, ухают совы на деревьях.

Пахнет бензином и машинным маслом, совсем как у нас в гараже, когда папа там возится со сваркой. Два больших желтых глаза горят в темноте.

Подъезжает автомобиль, весь во вмятинах, сосновые иголки шуршат под колесами. Из него выскакивает мальчишка моего возраста и машет мне рукой. Я ему – тоже. Вслед за ним вылезает круглый, как футбольный мяч, уса́тый господин.

– Это твой дядя Батист, он довезет тебя до Фромюля на машине, так безопаснее, чем в телеге с сеном посреди ночи.

Жанна обнимается с толстяком, шепчет ему “спасибо, спасибо!”. Они стоят, крепко обнявшись и закрыв глаза, я глазею на них дурак дураком. А мальчишка смотрит, как я глазею.

Долговязая Жанна рассказывает дяде Батисту, каким я был молодцом, а я что? Я только телеграфные столбы считал.

Я испугался, что она начнет меня целовать-обнимать, поэтому первым протянул ей руку.

– Спасибо за то, что вы ради меня рисковали жизнью, и простите, что я чихнул, когда рядом были немцы, – сказал я без запинки и очень вежливо, как полагается.

Кузина пожала мою руку и вдруг расплылась в улыбке. Глаза ее часто заморгали, кончики ушей покраснели.

Она снова уселась на край телеги. Увидимся ли мы когда-нибудь еще? – подумал я. Дядя Батист положил руку мне на плечо, и я смотрел на лошадей, пока они не скрылись из виду. А потом чихнул.

– Карета подана! – сказал дядя Батист и открыл багажник.

Голос у него такой спокойный, уютный. И, несмотря на обстоятельства, в нем слышится что-то улыбочное.

– Можно и я поеду с ним в багажнике?

– Нет, Гастон, вам будет тесно, как сардинам в банке!

– Обожаю сардины! – сказал Гастон.

А я – нет, зато Гастон мне уже нравится. Глаза у него весело сияют. От этого у меня по спине бегут мурашки. Еще два дня назад я сам так радовался.

Багажник захлопывается, нас накрывает темнота. Не видно звезд, не слышно ни звука. Потом машина заводится, мотор начинает хрипеть, как дряхлый старик. Гастон давай тоже хрипеть, как мотор. А я – как Гастон, который хрипит, как мотор. Нас обоих тошнит. Мы

⁴ Ну, хорошо... (*лотарингский диалект*).

соревнуемся, кого дольше не вырвет. Отец Гастона рассказал ему, что мы с ним дальние родственники. За несколько минут мы стали близкими друзьями.

Вдруг нас тряхнуло, мы сцепляемся друг в друга, чтобы не ушибиться. Машина замедляет ход и останавливается. Ручной тормоз скрипит, как здоровенная застёжка-молния. Дядя Батист открывает нам вид на небо, усеянное звездами. Мы с удовольствием вдыхаем свежий воздух.

– Ну, кажется, приехали! – объявляет Батист.

Вот она, “маленькая ферма с бакалейной лавкой на бывшей немецкой границе”, как ты ее описывала. Вот она, передо мной. На лугу, посреди которого зияет огромная воронка от снаряда, задумчиво бродят одна, две, три, четыре коровы и два вола. Фромюль – красивое здание из розового песчаника, “под стать красной почве северных Вогезов”, – говорила ты. Здесь ты выросла. Меня попеременно охватывает то радость, то печаль. Я как свеча на ветру. То разгораюсь, то гасну.

Все как ты вспоминала: два этажа, чердак под остроконечной крышей из старой черепицы, а вокруг лес, где полно ежей и светлячков. Напротив – покатая гора, склон уходит вверх под самое небо. Подумать только: я вижу точно то же самое, что видела ты, когда тебе было столько же лет и ты была такого же роста...

Те же камни, те же ставни, тот же запах влажной земли.

У меня снова заколотилось сердце. Как будто сердитый сосед барабанит в дверь легких.

– Там наверху плато Лежер. На нем была казарма французских офицеров. В ней жил твой отец до того, как познакомился с твоей мамой. По ночам они оба сбегали – из дома и из казармы – и тайно встречались в светлячковом лесу. – Голос у дяди Батиста теплый, как огонь в камине.

Мы подошли к дому, Гастон постучал в дверь. Открыла бабушка. Волосы у нее собраны в пучок и очень туго стянуты – как же она, подумал я, глаза-то закрывает. “Типичная причёска старой учительницы, повернутой на математике”, – говорил папа. “Морщинистая, как прошлогоднее яблоко. Щеки – пергамент с иероглифами” – это уже мои слова. Такой она мне показалась. Старое сморщенное яблоко.

Вот я и записываю в своей школьной тетрадке. Раз больше не надо переписывать в нее разные непонятные стихи, буду писать тебе. Так можно думать, что ты не совсем ушла или ушла ненадолго.

Первая ночь во Фромюле

Бабушка говорит, что теперь Фромюль – мой дом. А я говорю про себя, что *ненавек* не может длиться очень долго.

Еще она говорит, что я похож на пугало – весь в сене, и старательно снимает травинки по одной. Так она чувствует себя нормальной бабушкой. По всему видно, что ей уж давно не приходится быть мамой. Она рвется помочь мне тащить чемодан, груженный призраками, а я-то вижу: ее собственный весит не меньше тонны.

До того как грянули несчастья, папа называл ее Супермамочкой. Тебя это смешило. А он каждый раз пояснял: “Ну, потому что она, тонюсенькая, как тростинка, произвела на свет семерых детей”. А ты, мама, задумчиво улыбалась.

Бабушка благодарит дядю Батиста и обнимается с ним в замедленном темпе. Гастон протягивает мне ладошку, я ее пожимаю, как делают взрослые. Надеюсь, мы когда-нибудь еще посоревнуемся в моторном хрипе.

Бабушка ростом чуть выше меня и еще более тощая, но ходит так быстро, что я еле за ней поспеваю.

Она с гордостью показывает мне гигантскую кухню. Громадный деревянный стол, часы с маятником, которые всегда отстают, печка, глядя на которую вспоминаешь Железного Дровосека из “Волшебника страны Оз”. Ты мне читала эту книжку, когда я был помладше. Со вчерашнего дня мне кажется, что я уменьшаюсь, а в этой огромной комнате делаюсь совсем маленьким.

– Теперь пойдем в лавку, Мену! – зовет меня бабушка.

Я снова иду за ней. Все похоже на начало летних каникул – жара и все такое. Небо тут занимает гораздо больше места, чем в Монпелье. Луна и звезды лежат прямо на крыше дома. Не слышно никаких машин, только наши шаги, шелест ветра да лай собак вдали.

В лавке пахнет канареечным кормом и воском, как у наших стариков соседей в Помпиньяне. Это тоже сходится с твоими воспоминаниями, я как будто живу в твоей голове.

Бабушка знакомит меня с Гектором – это крупный пес, не то овчарка, не то волкодав. Думаю, скорее добродушная овчарка, которую вся эта война нисколько не волнует.

А вот и знаменитая тетя Луиза. Целая *гипподама*. В руках у нее молитвенник, между страниц засунут похожий на сардельку указательный палец. Точно как на семейных фотографиях.

“Эта книга Луизу так ужалила, что она распухла на всю жизнь. Она твердит об Иисусе, даже когда храпит!” – говорил папа. Тебя это сместило. Да, да, ты прятала усмешку, но я видел!

Рядом с тетей Луизой дядя Эмиль. Лысоватый, здоровенный, как телеграфный столб. В глазах высокое напряжение, кажется, вот-вот искры посыплются и как рванет! Головой до потолочных балок достает. Готов поспорить: если он хоть одну заденет головой, рухнет весь дом.

Они оба идут с нами в домик-курятник.

– *Pipélé! Pipélé! Kom, Kom!*⁵ – приговаривает бабушка и бросает курам зерно.

Домик величиной чуть больше большого почтового ящика, хорошенький, хотя и окружен грубой сеткой от лис. Хотел бы я уменьшиться еще сильнее и поселиться в нем. Я стал бы смотрителем яиц, жарил бы с быстротой молнии вкусные яичницы, принимал роды у кур, тут было бы мое царство. Войну в своем курятнике я бы запретил и научился бы кукарекать, как заправский петух.

Идем по лугу. Кругом цветы, смотрю на них, и такое странное чувство... Особенно тюльпаны... точно такие же, как на одной твоей фотографии, и точно в том же месте.

Смотри не упади в воронку, говорит мне бабушка. Это яма диаметром метров десять и глубиной метра два. Всюду мелкие камешки, грязь, но кое-где между ними отрастает трава. Еще немного – и можно будет играть в футбол.

Мы обходим всю ферму, а я засматриваюсь на лес, в котором ты когда-то гуляла. Сейчас бы побежать туда со всех ног, влезть на верхушку каждого дерева и так устать, чтобы уснуть и спать, пока меня не разбудит папа. Скажет, что мне приснился дурной сон, и все станет так, как раньше.

Бабушка представляет мне всех обитателей фермы: шесть свиней, четыре коровы и два вола – Штоль и Май. Бабушка шутит: они будто бы обижаются, если путают их имена. Небось не первый раз повторяет эту шутку.

Вот бы их оседлать и удрать в лес. Сбежать, как ты когда-то сбегала на свиданья с папой. Эту историю я слышал сто раз от всех домашних. Я бы поднялся на плато Лежере и разгуливал в светлячковом лесу. Чему-то радоваться, пусть даже совсем невозможному – как-то странно. Странно думать о чем-то веселом. Вся радость заржавела, и я забыл, как вообще это бывает.

⁵ Цыпа-цыпа! Ко мне, ко мне! – на лотарингском диалекте. (Прим. автора.)

Мы вернулись в гигантскую кухню. Скрип двери, потом тишина, и тикают часы. А больше ничего. По-моему, слишком долго. Сразу столько вещей, к которым надо привыкнуть. Бабушка подходит к какой-то деревянной шутовине, украшенной резным аистом в гнезде, в нее вставлено что-то вроде компаса. Она барабанит кончиками пальцев по стеклу, и стрелка идет вверх.

– Завтра ясно! – говорит она, но быстро умеряет свой восторг, сообразив, что я этой хорошей погодой воспользоваться не смогу.

Ясно, хорошая погода, а ты смотри на нее из окна, как будто болеешь. Я пытаюсь представить себе весы и уравновесить хорошее и плохое.

Так делать учила меня ты, тогда это касалось чего-то не очень важного, и у меня не очень-то получалось. Мне нужно было время, чтобы улеглась злость. Папа говорит, что я чемпион мира по вспыльчивости. Вскипаю как молоко. Когда на меня такое находит, я как в тумане и сам себя не помню. Так быстро становиться таким тупицей – это надо уметь! Сейчас мои нервы набрякли от печали. Но я с ужасом жду, когда пробьется боль.

В данный момент все хорошее, что я мог бы положить на весы, – это вещи невидимые: какие-нибудь воображаемые звери или воспоминания. Вот я и вспоминаю, и если вспомнится что-то слишком уж радостное, так что захочется плакать, начинаю думать о всяких забавных штуках.

Это помогает, но ненадолго, а потом что-то лопается и... пропади оно все пропадом! Все-все. Моя башка и вся ее начинка. Сердце, которое стучит в ушах, как молоток.

Хорошо бы вмонтировать в мозг выключатель. День – ночь. Спокойной ночи, детки! И больше ни о чем не думать. Ничего не вспоминать. Отбой, гасим свет!

– Мену, посмотри-ка, что лежит у камина. Подарок к твоему приезду, – щебечет бабушка, подделываясь под веселую синичку.

У этой бабушки талант подделываться под кого-нибудь.

В гнезде из соломы – огромное замызганное пасхальное яйцо. С розовым бантиком на макушке. Страшно подумать, какой величины дырка в зад у курицы, которая снесла такую штуку. Я предпочел бы получить футбольный мяч или пусть шоколадку, но обычную, из магазина, только не будущую птичку.

Я взял яйцо в руки, чтобы показать, как я счастлив и все такое. Тяжеленькое! По мне, так лучше бы внутри у него были сахарные рыбки или маленькие разноцветные яички, но, кажется, такое тут не в моде.

– Дед Мороз на Пасху снес! – сказал дядя Эмиль, а прозвучало это как “Гляди-ка, дождь пошел”.

Наверняка заранее приготовил эту шуточку.

– Твой дядя Эмиль, чтоб ты знал, борется за то, чтобы соревнования в несмешных шутках стали олимпийским видом спорта, – усмехнулась бабушка.

– Смешно, что до сих пор не стали! – ответил дядя Эмиль.

– Только тебе и смешно! – вставила тетя Луиза.

– Штоль и Май обожают мои шутки. Особенно Штоль.

Дядя Эмиль поднес к уху большое яйцо.

– Аистенок может вылупиться с минуты на минуту. Если он запищит с немецким акцентом, засунь его обратно в скорлупу и выкинь в окошко, – сказал он и протянул мне корзинку.

Я улыбнулся, первый раз после твоей смерти. Это вышло как-то так, само собой, когда я поглядел на кривую ухмылочку дяди Эмиля. Улыбнулся и даже чуть-чуть засмеялся. Кажется, даже пучок у бабушки на голове слегка ослаб.

У бабушки ласковые глаза. Как у тебя, но окруженные иероглифами морщинок.

В конце тетрадки я начертил календарь и поставил крестик на первом дне. А еще записал разговор тети Луизы и дяди Эмиля, перечитаю его, когда опять нахлынет лавина вопросов.

Ну а пока что у меня есть аистинное яйцо. Бабушка говорит, что птенец проклюнется через тридцать три дня. Для этого надо его каждый день заворачивать в одеяло и класть на несколько часов около дровяной печки.

Держу его в руках страшно гордый, как будто это я отец будущего птенца. В общем, получилось что-то вроде адвент-календаря. Параллельный мир, где ожидается счастливое событие.

Чудно думать, что внутри этой твердой, но хрупкой штуковины зреет живое существо. Мне теперь тоже будет о ком заботиться. Лучше бы это был не аист, а сестренка, но и так ничего.

Обойдя весь первый этаж, мы спускаемся по деревянной лесенке в темный подвал. Там очень низкий потолок. Таким мог бы быть обычный дом после нескольких землетрясений. Тут пахнет цементом и сыростью. На усыпанном гравием полу аккуратно разложены матрасы, похоже на подземный походный лагерь. Очень много книг. Это наводит на мысль о том, сколько же времени, возможно, придется тут провести.

– Мы привели тебя в подвал, чтоб ты привык и не боялся, – сказала тетя Луиза.

На стенах повсюду развешано то, что дядя Эмиль называет “наивным искусством”, а тетя Луиза – “каракулями”. Рисунки углем, короткие фразы.

– Поэзия, красота, романтика, любовь! – воскликнул Эмиль.

– На стенке?

– Везде, дружок, если надо, то и на стенке, раз это открывает выход из этой дыры через собственную голову.

Я достал тетрадку и стал записывать.

– Лучше бы ты первым делом записал не глупости, которые болтает твой дядя, а правила поведения.

Я записываю все подряд, в том числе что я должен записать правила поведения, хоть и так уже знаю их наизусть. Но записываю, раз просят.

Никогда, что бы ни случилось, не выходить одному, даже ночью.

Прятаться в подвале, если кто-нибудь зайдет в дом.

Если вдруг мне придется встретиться с кем-нибудь в доме, ни в коем случае не говорить по-французски.

– Отлично! – говорит тетя Луиза.

– У тебя в голове есть потайной ход, который ведет прямо в сердце. Чтобы туда проникнуть, нужно хорошенько натренировать воображение, – гнет свое дядя Эмиль.

Записываю и это.

– И нет ничего интересней таких тренировок.

– Думаешь, ты ему поможешь, если будешь разрисовывать стены, как пещерные люди? Лучше покажи ему настоящий потайной ход, – говорит тетя Луиза.

В углу подвала стоит пыльный шкаф, она подходит к нему и открывает дверцы. Внутри висит тоже пыльное черное пальто до полу с большими карманами и несколько поникших на вешалках цветастых платьев. Может быть, какие-нибудь из них надевала ты – от этой мысли меня пробивает дрожь. Тетя Луиза сдвигает все вешалки в левый конец и показывает небольшую задвижку, выкрашенную в тот же цвет, что и дверцы.

– Если что, можно выйти отсюда, – говорит бабушка.

– А пока, Мену, читай Библию и молись, чтобы нам никогда не пришлось им воспользоваться! – заключает тетя Луиза.

Вот тут я теряюсь. Я никогда не соглашался петь в церковном хоре, потому что церковь – единственное место, где время тянется еще дольше, чем в очередях за продуктами и за всяким прочим по карточкам. С другой стороны, если не зря болтают про небеса и ты там и тебе хорошо, я готов хоть сейчас передумать.

*4 июня,
вечер, в твоей комнате*

Тут все почти так же, как в подвале. Только окно есть. Из него видна воронка в саду, который не столько сад, сколько луг. Огромный луг, а прямо за ним лес. Зато кровать как кровать, настоящая. Хотя ты и так это знаешь, она же твоя.

Я сажусь на кровать, открываю свой чемодан. Пахнуло свежестиранным бельем – я будто вернулся домой, на виллу “Иветта”. В другое время.

Раскладываю вещи в твой детский стенной шкаф. В нем твое платье – я его узнал, ты в нем на одной из фотографий в семейном альбоме. А я думал, одежда мертвых исчезает вместе с ними.

Стол и стул передвигаю к окну, здесь мне будет удобно писать тебе. А теперь, пока бабушка не позвала на ужин, открою-ка я ту самую шкатулку.

Вдруг земля задрожала от взрыва. Дом зашатался, как боксер на ринге, получивший апперкот. Оглушительно завывли сирены. Все ближе гул самолетов.

Оконные стекла у меня над головой разбились. Осколки по всей комнате: на кровати, на полу. По сравнению с этим страх чихнуть, когда рядом немцы, – пустяк. Сердце лупит по легким, рвется вон из грудной клетки.

Врывается Эмиль и сдергивает меня со стула. За ним – бабушка.

– Меню, скорее в подвал! Давай живо!

– Вот тебе боевое крещение, дружок! – говорит Эмиль, подхватывая меня одной рукой.

На лестнице летают клочья пепла, как будто в гостиную упала и погасла звезда. Они смешиваются с туманом, который вползает через разбитые окна. Вспыхивают, корчатся от боли и плюются шишками сосны. Баран в один миг превращается в баранье жаркое.

Бабушка сжимает мою руку, будто манжетка тонометра. В глазах у нее страх. Она не успевает скрыть его от меня. Лопаются керамические кастрюли, посуда и ложки-поварешки падают на пол. Пахнет жареным хлебом. Становится жарко, как в разгар лета, хотя еще весна. Вдруг вырубился ток. Обрушилась жуткая темень.

Я бы лучше остался в твоей комнате. Растянулся бы на кровати и отключился, постарался бы хоть несколько секунд ни о чем не думать. Но Эмиль кричит, что оставаться нельзя. Он прав, нужно изобрести ракету и сигануть на Луну.

– Здесь нельзя оставаться! Мама! Пошли!

Мысль улететь на Луну грела меня всего пару секунд. Мы спускаемся по лестнице в подвал, грохот все нарастает.

– Я могу идти сам!

Эмиль меня сейчас задушит. Он пытит как бык. Бабушка выпускает мою руку. Хлопают двери, наконец открывается дверь в подвал-бункер.

Тетя Луиза в ночной рубашке, со свечкой в руках уже там. Она всегда ложится спать в подвале на случай бомбежки. Видно, на Бога полагается до известных пределов.

Эмиль бережно опускает меня на землю. Взрывы здесь слышны не так громко. Глаза потихоньку привыкают к темноте. Во рту вкус влажной пыли.

– Ну, дружище Меню, вот знатная бомбежка в честь твоего приезда. Такой мощной не было с тех пор, как вон ту воронку на лугу пробило, – говорит дядя Эмиль, зажигая свечу. –

Здесь, в подвале, безопасно. Даже если обрушится дом, нам ничего не сделается. Ты как, не очень испугался?

– Да нет, – ответил я. – Не очень.

Я переигрываю, никто мне не верит. Эмиль улыбается и похлопывает меня по плечу. Бабушка распускает волосы и становится совсем другой. Тетя Луиза уткнулась в молитвенник и что-то невнятно бормочет.

– Не беспокойся, бабушка, все будет хорошо!

Такая у меня новая игра – притворяться героем. Бабушка снова собирает волосы в пучок и отвечает мне безукоризненной улыбкой – десять очков!

– Слышишь капли? – говорит мне Эмиль. – Это время сочится в подвал. Иногда замедляется так, что кажется, оно остановилось.

– Ну, началось! Опять его понесло! – говорит тетя Луиза.

– Что я такого сказал?

– Вот именно – твои слова не значат ничего.

– Воображения у некоторых ни на грош! – Дядя Эмиль пожал своими широченными плечами.

Я не все понимаю, но делаю умный вид.

Бабушка ждет. Переживает. И глядит в никуда, как папа, когда укладывал чемоданы. Эмиль рисует на стене окно. Тут, говорит он, в окно не посмотришь, но теперь можно смотреть на окно. Тетя Луиза поднимает глаза к небу, к небесам, в которые так верит.

Между двумя взрывами пролетел тихий ангел. Бабушка потеряла дочь, а я – сразу и маму, и сестру, которая почти родилась. Сколько же надо бомбить меня шутками, чтобы заставить не думать о третьем июня 1944 года. О том дне, когда все, что шло своим чередом, вдруг оборвалось.

Все думают об этом, но никто не говорит. Особенно бабушка.

Я думаю, как жил бы дальше, если бы все оставалось, как три дня назад. Когда самым большим приключением было проехать на велосипеде через мост Жювеналь или закинуть со штрафного удара мяч через стенку, играя в футбол с приятелем-соседом и его псом-вратарем.

– Вообще-то... Бомбежка – хорошее лекарство от нацистов. Лечение болезненное, но надо набраться терпения. Должно подействовать, – говорит бабушка, воинственно потрясая пучком.

Во мне вскипает злость. Вопросы жгут язык.

– Как это?

– Эти бомбы бросают на наши головы союзники, – объясняет Эмиль. – Англичане атакуют немцев, чтобы выгнать их за Рейн. Наша земля сейчас считается немецкой, вот и получается, что мы сами как будто немцы. Привилегий у нас никаких, а неприятности – вот они. Лечение, как говорит твоя бабушка, болезненное, но оно, возможно, очистит наши края от нацистской заразы.

– Так это не немцы нас бомбят?

– Они обороняются в воздухе, но свою территорию не бомбят. Они тут всюду вокруг. Вот почему ты должен тщательно соблюдать правила. Понял, Мену?

– Мену понял.

– И если бы еще только немцы...

– А кто еще?

– Есть еще и французы, которые служат врагам. Милиция⁶. Они вооружены и ведут себя как нацисты, а иногда и хуже.

⁶ Имеется в виду так называемая Французская милиция, добровольческие военизированные формирования, служившие

– Хуже нацистов?

– Ну, из-за того, что они французы, а ведут себя как нацисты, кажется, что они хуже, но на самом деле они такие же. Гнусность не зависит от границ.

Внутри у меня тоже лопаются стекла – я-то думал, что страшны только немцы. Мне бы другое сердце, бездыханное, чтоб унялось желание крушить все вокруг. Я сам как бомба или целая бомбардировка.

– Есть еще и другие враги, невидимые, и их тоже надо опасаться, особенно сейчас, когда появился ты, – говорит бабушка.

– Коллаборационисты! Французы, которые выдают немцам партизан и евреев. Таким может оказаться любой, кто зайдет в лавку за покупками. Поэтому, Мену, ты никогда не должен...

Я прерываю Эмиля:

– Знаю, знаю... Не должен выходить один и, если кого-нибудь случайно встречу, не должен говорить по-французски! Жанна заставила меня выучить правила наизусть.

– И надо повторять их каждый день. Малейшая ошибка может всем нам стоить жизни. Всем! Иногда по несколько дней подряд не бывает бомбежек и немцы не заходят в лавку, так что невольно расслабляешься. Но, пока война не кончится и мы не победим, расслабляться нельзя! Ты хорошо это усвоил? – спрашивает бабушка.

Я хорошо усвоил, что моя мама умерла, что папу я, может быть, больше никогда не увижу и что из-за какой-нибудь шалости могут погибнуть все, и это будет по моей вине.

Так я подумал. А вслух сказал:

– Да. Спасибо вам за все.

Это я тоже думал, но не так отчетливо.

– То есть днем без особого разрешения заходить в лавку категорически запрещается. Ясно?

– Да, запрещается. Знаю.

“Хватит уже тратить время зря, лучше поговорим о том, что разрешается”, – подумал я, но так громко, что бабушка наверно услышала. Она наклонилась ко мне свое лицо – сморщенное яблоко – и заглянула прямо в глаза:

– Прежде чем что-то делать, повтори про себя правила. Мы не всегда будем рядом, чтобы следить за тобой, понимаешь?

– Да понимаю я!

– Главное, чтоб ты понял, почему это так важно.

Когда повисают долгие паузы, мне хочется дурачиться, но как-то не получается.

– Это вопрос жизни и смерти! – твердит бабушка.

Я чувствую себя так же, как когда получаю мячом в живот, – сжимаюсь и жду, когда можно будет снова нормально дышать.

Снова воют сирены. Это, объясняет Эмиль, знак того, что бомбежка закончилась. Дали свет. Все задули свечи. Кроме тети Луизы, она свою не гасит никогда – мало ли что.

Мы поднялись по лестнице и как будто вернулись в мир живых, а зайдя на кухню, увидели настоящий погром, тут здорово порезвились призраки. Можно подумать, в дом, пострадавший от землетрясения, еще и забрались грабители. Все принялись подбирать осколки битого стекла, раскладывать и развешивать утварь по местам, да так невозмутимо, будто грядки пропалывали.

Эмиль что-то насвистывает, узнаю мелодию – это твоя любимая песня “Лили Марлен”. Вот кто умеет быть таким, что хочется быть как он, так это дядя Эмиль!

Я бы пошел в свою комнату, посмотреть, как там мое яйцо и тетрадка. Мне необходимо вытряхнуть все из сердца и из головы.

– Иди к себе, Мену, отдохни. У тебя был трудный день. Ты помог нам, и хватит, закончим без тебя. – Бабушка провела по моим волосам исхудавшими пальцами.

Я вздрогнул – не люблю, когда трогают мои волосы. Даже когда это была ты, и то еле терпел. Но я постарался улыбнуться бабушке и просить себя не заставил, тут же слинял.

Вверх по ступенькам побежал вприпрыжку, будто бы мне ужасно весело. Рефлекс из прошлой жизни, пока самое страшное еще не случилось. Но я чувствую, как меняюсь. Позавчерашний я – уже не я, а какой-нибудь престарелый родственник. Я люблю его, но мне с ним не о чем говорить.

Опять вхожу в твою комнату. Яйцо невредимо, тетрадка тоже, а шкатулка исчезла.

Но я слишком устал, чтобы злиться. Собираю стеклянные слезы, которые натекли из окна, и поскорее записываю все это, пока голова не лопнула от всего, что скопилось в сердце, или наоборот.

В твоей комнате ночью

Я разучился спать. Со вчерашнего дня стал специалистом по бессоннице. В твоей – теперь моей – кровати тесно, почти все место занимает твой призрак. Постель холодная, чтоб не сказать ледяная, но только она согревает меня. Встаю и подхожу к окну. Ветер доносит сосновый дух.

Едва рассветает, я забираюсь в твой шкаф и сам себя чувствую призраком. Запираюсь в нем изнутри и утыкаюсь носом в красное шерстяное платье с большими деревянными пуговицами, запах не твой, не мамин, а свежей стирки – наверное, ты его вдыхала, когда тебе было столько же лет, сколько мне. Остальная одежда бабушкина, она ее носила, когда была помоложе.

Открываю все ящики и нахожу кучу сокровищ: связку ржавых ключей, мешочек с шариками, тетрадь с засушенными цветами, которые страшно тронуть, и синюю музыкальную шкатулочку со звездами. Открываю крышку – крошечная фигурка принимается танцевать под музыку “Лили Марлен”.

Что надо вырабатывать: умение вспоминать или забывать? Пока и вспоминается с трудом, и забывается не очень. Зато теперь я, взрослый ребенок почти что десяти лет от роду, могу многое понимать. Могу и хочу. Свободная зона, оккупированная зона... Когда ты росла на ферме, тут была Германия. И родилась ты немкой, еще до войны четырнадцатого года. Папа всегда говорил, что нацисты – это немцы, но не все немцы обязательно нацисты.

Невысказанных вопросов от этого еще больше. Они дерут горло, как ангина, только все наоборот: легче становится не когда молчишь, а когда говоришь.

После бессонной ночи я довольно кислый, но все же решаюсь кое-что разузнать.

– Мне папа дал с собой шкатулку, – заговорил я. – Деревянную такую, небольшую, но очень тяжелую. Он велел мне не открывать ее и отдать бабушке. Вчера вечером, только я зашел в свою комнату, как началась бомбежка, а когда вернулся, шкатулки не было!

Бабушка устала на свои туфли, что-то нашла в них интересное. Тетя Луиза берет в руки свой крест и что-то бормочет так невнятно, что если бы Господь ее слушал, то переспросил бы: “Что-что? Простите... повторите, пожалуйста”. А Эмиль недоуменно жмет плечами.

– Знать ничего не знаю ни о какой шкатулке, – наконец выговаривает бабушка.

– Но кто-то же ее унес из моей комнаты!

– Ты ее в поезде наверно оставил, – говорит тетя Луиза.

– Я, конечно, растяпа, но шкатулку точно в поезде не оставлял. Она потом лежала у меня под головой, отлично помню, как там что-то тикало. Я еще думал, не бомба ли.

– Не бойся, папа никогда не стал бы подвергать тебя такому риску, – говорит бабушка.

– Он велел: главное – не открывать!

– Может, она куда-то завалилась, – подсказывает тетя Луиза. – После такой встряски находишь свои вещи разбросанными по всему дому. В подвале как-то забываешь, а возвращаешься – каждый раз как после землетрясения.

– Может, – опять говорит бабушка, – ее куда-нибудь нечаянно засунули.

– Или, – вклинивается дядя Эмиль, – бомбежный вор утащил.

– Кто-кто?

– Ну, такой воришка, забирается в пустые дома, когда шарахают бомбы, и забирает что под руку попадет. Кто он такой, никто не знает. То ли француз, то ли немец.

– Некоторые говорят, это вдова, которой нечем прокормить детей, вот она и ворует с риском для жизни, – говорит бабушка.

– Ты веришь в эти басни? – спрашивает тетя Луиза.

– Не очень, – отвечает Эмиль, – но, если уж меня обворовывают, пусть лучше это будет вот такой Робин Гуд в юбке.

– Оригинально – Робингудша, которая грабит бедняков! – усмехается тетя Луиза.

– Все относительно. У нас есть огород, курятник, козы и лавка. В золоте не купаемся, но все же не так бедствуем, как многие другие, особенно во время войны.

– Не приготовить ли на всякий случай ящик картошки? – говорит бабушка.

– Зачем? – удивляется тетя Луиза.

– Чтобы, когда она придет в другой раз, ей не надо было перерывать весь дом под бомбами.

– Отлично придумано, мама! Тем более что, говорят, чаще всего она не успевает прихватить добычу. Розали мне рассказывала, что в прошлый раз заметила, как у нее в доме кто-то только переставил вещи с места на место. Может, на этот раз вдова приходила к нам.

Все эти рассказы меня ничуть не убедили. В первый же вечер без бомбежки я, вместо того чтобы спать, пойдю искать шкатулку.

*Фромюль,
6 июня 1944*

Бесшумно, как кошка, крадусь в носках по плиточному полу. Роюсь в кухонных шкафах, обыскиваю хлев под негодующий лай Гектора. Ночью мы с ним хуже ладим, чем днем. Штоль и Май поговорчивее, мы с ними друзья, ведь я их не пускаю на бифштексы.

Тихо обшариваю лавку, я здорово наловчился. Когда вырасту, могу пойти в грабители.

Шпиону с помощью самодельного телефона на веревочке. Один стаканчик прижимаю к стене кухни, другой – к уху. По большей части слышу только “Пум-пум-пум... Французы – для французов” и обрывки фраз, похожие на заголовки странных стихов: “Луна полна зелеными слонами. Танцуют мошки. Летают жабы. Анемичный петух...”⁷

Но вчера вечером я услышал шаги. Такие частые шажки – топ-топ-топ, – потом скрипнула дверь. Это напомнило мне призрака из гаража на вилле “Иветта”. Там я тоже слышал шаги по ночам. Шуршала одежда, скрипели ворота. Иногда даже звякал велосипедный звонок. Когда я был совсем маленьким, ты говорила, что это гаражный призрак. Бывший гонщик тос-

⁷ Такие зашифрованные радиogramмы посылал лондонский центр “Свободной Франции” ячейкам Сопротивления внутри страны.

кует по велосипедам и является в гараж. Я часами мерз в одной пижаме, подстерегая его, и все без толку. А что это на самом деле были за ночные звуки, ты мне так и не рассказала.

Мне нравится бродить по дому ночью. Все тихо и как-то замедленно. Кажется, ночью старые разлаженные кухонные часы показывают правильное время. Пол скрипит, как расстроенная скрипка. Я со своим телефоном на веревочке похож на доктора. Слушаю, как бьется сердце дома в покосившихся часах, измеряю давление в водопроводных трубах. Залезаю на стул и, как бабушка, постукиваю по стеклу барометра. Почему-то, когда она так делает, мне становится спокойно. Иногда вдобавок ко всему мне достается еще и целый концерт в исполнении тети Луизы. Она храпит так, будто псалмы выпевает. Это звучит как месса для медведей.

Та же месса, но уже без медведей, бывает и днем. Я ни над кем не хочу насмеяться, но иной раз, когда она, закрыв глаза, общается с Богом, меня так и подмывает что-нибудь этакое отколоть.

– Это ее способ найти выход, – сказал мне как-то Эмиль. – Библия – проезжая дорога для воображения, на которой все размечено. Что хорошо, что плохо, что надо и чего не надо делать. По мне, так это скучно, но то я, а то... Думаю, Библия Луизы – одна из последних, сохранившихся во всей округе. Даже эта книга запрещенная. Лично я не верю, что ее молитвы помогут нам победить, но если Луизе от этого лучше, то пусть себе!

– Так тетя Луиза в Соппротивлении?

– Нет... не то чтобы. Ну, или по-своему да. В оккупированной зоне оставаться собой, каким бы ты ни был, это акт сопротивления. Жанна же объяснила тебе, что мы здесь на вражеской территории. Мне больно это говорить, но Лотарингия теперь часть нацистской Германии.

Фромюль,

11 июня 1944

Весь день я жду вечера. Бабушка занимается со мной за большим столом. Старается изо всех сил. Мне не всегда интересно то, что она рассказывает, но она вкладывает в эти уроки всю душу, так что я как в театре.

Учу азы лотарингского наречия, необходимые, как считает бабушка, для жизни здесь. “*Ça gets so moal?* – Как дела?” И азы немецкого на случай, если вдруг, не дай бог, встречу немца. Если путаю немецкий с лотарингским, бабушка делает страшные глаза. Всего на минуту, но мне и правда каждый раз становится страшновато. Они в самом деле звучат похоже. Но я подумать об этом не смею – боюсь, будут ругать. Так что думать-то я думаю, но про себя.

Смотреть на запретный мир я могу из окна своей комнаты. Даже в хорошую погоду небо синее, но какое-то не такое. Или что-то от горя сломалось в моей голове, или стекло слишком толстое?

Слушаю, приложив свой телефон, как дует ветер. Слышу, как лает Гектор, как грызутся Эмиль с тетей Луизой, слышу бабушкино *Pipélé! Pipélé! Kom, kom!* из курятника. Чувствую себя аистом в яйце – тесно и жарко. Сидеть в заточении ради спасения как-то дико!

Кажется, все идет наперекосяк с тех пор, как ты ушла, как будто ты по ночам чинила все в мире, что шло не так. Теперь моя очередь. Но я плохо разбираюсь, как устроен мир. Эмиль говорит, что для начала мне бы надо починить самого себя:

– Твоя голова – единственное, на что ты можешь рассчитывать. Откопай под слоем злости остатки веселья и научись опять смеяться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.